

Игорь Шестков "Берлин - Москва"

БЕРЛИН - МОСКВА

До отлета три часа. Аэропорт пустой и жуткий. Пассажиров не видно. Только одинокий бородач стоит, опершись о перила, и тоскливо озирается. Все ясно – и этот летит в Шереметьево. И его тоскливое, упорное ожидание – типично русский знак. Россия всегда чего-то ждет, всегда что-то терпит, она лишена настоящего и живет между никак не кончающимся «проклятым прошлым» и никогда не наступающим «светлым будущим».

Объявили регистрацию. Вошел в «предбанник», к девятым воротам. Сел. Сравнительно небольшое помещение предбанника стало наполняться пассажирами. Внимание привлекли несколько «новых русских» с шикарно, но вульгарно одетыми дамами. У мужчин сквозь показное достоинство проглядывала криминальная нахрапистость. У женщин доминировала томная усталость от богатства и могущества их мужественных покровителей. Сам не зная зачем, завел идиотский разговор-дискуссию. Спросил рядом сидящего человека средней внешности о том, стало ли лучше в России в последнее время. Тот отвечал невнятно: «Ну да, стало лучше. А может и нет. Не знаю я. Вроде лучше...»

И замолчал. Зато сидящий спереди, одетый в совершенно дикую дубленку, господин вдруг забормотал простуженным голосом: «Что вы спрашиваете? Конечно лучше не стало. Хуже стало. Разворовали Россию. Предали и разворовали. Дерьмократы. Олигархи-евреи. А вы что, не знаете этого? Стонет матушка Русь. Ну ничего, настанет царство правды. Раскулачат гадов». «Старая песня, – сказал третий, тот самый бородач. – Никто Россию не разворовывал. В ней всегда воровали и будут воровать. Народ сволочь, что заслужил, то и получил. Все идет как всегда шло. Нельзя за такой короткий период изменить уклад жизни огромной страны. Но, я думаю, все устаканится и будет лучше».

«А что вы думаете о Путине?»

Бородач многозначительно посмотрел на меня и сказал: «Вы ему альтернативу знаете? Я не знаю. Значит и разговор бесполезен. Надеюсь, у него хватит ума прекратить расхищать российские недра и начать что-то производить».

«Альтернатива – честно выбранный, достойный президент».

«Выбранный? Вы сколько лет на родине не были?»

Объявили посадку. Все стали подниматься.

Самолет оказался «маленьким». С одним узким проходом между креслами. Я сел рядом с проходом. И просидел два часа, не вставая, стараясь не реагировать на внешний мир, моля клаустрофобию о пощаде.

Когда приземлялись, сердце стучало как сумасшедший ударник в джазоркестре. Майка промокла. Во рту была горечь. Потом полегчало. На ватных ногах, полуоглушенный, с болью в похрустывающих ушах, пошел по узкому коридору к выходу в аэропорт. Мелькнула мысль – может быть сразу улететь назад? Страх замкнутого пространства превратился в страх перед огромной темной страной, из которой я вовремя унес ноги, и в которую меня опять неизвестно зачем занесло.

«Я на родине. На родине. На родине. Дикость какая-то. Зачем я приперся? Захотелось посмотреть на оставленный город? Так нечего удивляться, что чувствуешь себя соляным столбом...»

«Вам куда ехать? Вам куда?»

Толпа кричащих таксистов встречала новоприбывших. Они боролись за клиентов, орали в лицо, хватали за рукав, тащили к машинам.

«50 Долларов! И Вы в Москве».

«А за тридцать поедешь? На Юго-Западную».

«Ну, садись».

Еле влез в грязные помятые «Жигули».

Москва поразила ночными огнями. В памяти все еще господствовал темный город конца сентября 1990-о года. Черная ночью, а днем серая столица все еще существовавшего и вовсе не собиравшегося разваливаться Советского Союза. А тут вдруг – море огней. Позже я заметил, что границами этого московского моря служат главные улицы, особенно хорошо освещены те из них, по которым проезжает кортеж президента.

Новые дома выделялись на улицах – как «новые русские» в самолете Берлин-Москва. Огромные, не вписывающиеся во все еще советский архитектурный ландшафт, с подчеркнутой закругленностью линий, они давили своей неуместностью, слепой мощью. У меня они пробудили приятное чувство узнавания хорошо знакомого старого. Архитектура Москвы во все времена отображала идею безвкусного могущества. Таков отчасти и Кремль и сталинские высотки и брежневские жилые районы. Третий Рим пестует свое превосходство перед провинцией, перед всем миром.

Садовое кольцо почти не изменилось. Проспект Вернадского обогатился новыми небоскребами. Вот и мамин дом – тринадцатизэтажная коробка с тремя подъездами. Подошел к подъезду. Путь мне преградила железная дверь с кодовым замком. А код был записан у меня на бумажке. Набрал код, дверь с клацаньем открылась. Прекрасно! Но дальше еще одна железная дверь. И тоже с кодовым замком. И этот код у меня был, но в нем, как позже выяснилось, не хватало одной цифры. Набрал код. Дверь не открывается. Еще раз. Никакого эффекта. Еще раз. Мертвое дело. Что делать? Не знаю. Тут только до меня дошло, что в Москве чудовищно холодно – градусов двадцать ниже нуля. А я торчу в неотапливаемом помещении. Поздно уже – полпервого ночи. Помощь нужна, иначе тут и подохнуть можно. Вышел на улицу. Постучал в стекло зарешеченного низкого окна на первом этаже. Кто-то пошевелил противную серую занавеску. Кто – не ясно. Темное пятно, даже не силуэт. Донеслось: «Вам чего?»

«Откройте мне пожалуйста дверь! У меня код неправильный, я из заграницы приехал, мерзну. Я сын Тамары, проживающей в этом доме...»

«Мы чужим не открываем».

«Я не чужой. Позвоните Тане Полесовой, она меня знает. Она живет на пятом этаже с мужем и ребенком».

«Мы чужим не открываем».

«Я – не чужой...»

Так продолжалось минут десять. Потом меня осенило – я спросил: «Гамлет, это ты? Ты же знаешь меня, я Игорь».

Ответ был уничтожающим.

«Гамлет тут двадцать лет не живет! Никакого Игоря не знаю и знать не хочу...»

Мило. Молчание. Но я по-видимому все-таки нажал на нужную кнопку.

Знакомый Гамлета позвонил подруге сестры Тане. Через пять минут любезная Таня открыла железную дверь и впустила меня в подъезд. Дала ключи.

Предложила помощь. Сообщила правильный код.

Вошел в кабину лифта. Какая узкая! И внутри так же пахнет не то потом, не то кошками. По дороге лифт трещал и трясся. Казалось, что он задевает боком за стены и может в любое время мертво застрять. Доехал, наконец, до девятого этажа. Выдрался из лифта, как тот булгаковский господин из кадки с керченской сельдью. И попал в клетку. Путь к двери в квартиру преграждала сваренная из мощных стальных прутьев дверь. Открыл и закрыл. Еще квадратный метр пространства перед последней деревянной, покрытой оборванным коричневым дерматином дверью. Три замка. Не дом, а Кощей Бессмертный. У меня в руках – связка с десятью ключами. Математика. Два замка сломаны. Ключ в них можно долго крутить без толку. Третий еще держит. Открылся.

Горе-горюшко!

В отсутствии хозяев в квартире жили чужие люди, но мамина комната была на замке, в ней хранились ее вещи, лежали стопки моих книг, не разворванный и не розданный остаток, привезенный сюда при ликвидации моей московской квартиры, картины и много разного барахла. Комната походила на кладовку. Лег на мамину кровать и попытался заснуть. Скверно пахнувшие, слежавшиеся за годы простыни, кусали тело, было тяжело дышать. В горле стоял ком. Понял, что заснуть в этом аду не смогу. Встал, пошел в кухню, нашел какие-то тряпки, замочил их в ванной и начал мыть пол. Сначала в коридоре. Потом в маминной комнате. Работа шла медленно. Пыль лежала жирным двухсантиметровым пластом. И не только на полу, но и на вещах. Из пыли вылетали какие-то мошки. Квартира походила на пустынную планету, на которой начало образовываться что-то биологическое.

Пыль. Почва небытия, давшая однако жизнь мушкам, паучкам, неисчислимым микроорганизмам. Вот оно – будущее. Именно так оно и возникает. Из барахла оставленной жизни. В спальне уехавших хозяев.

Мне пятнадцать лет. Моя семья (мама, сестра и отчим) еще живет в маленькой двухкомнатной квартире в доме на Панферова. Но нас уже два месяца ждет прекрасная трехкомнатная квартира, на девятом этаже нового дома, с двумя балконами. У меня будет там своя комната. Четырнадцать квадратных метров! В доме еще не работает лифт. В квартире – только темный лакированный гарнитур. Но не гарнитур влечет меня туда. И не балконы. Меня тянет возможность побыть там с моей девчонкой наедине. Мы учимся в одной школе, Лерка – на класс моложе меня. Девочка разбитная, с гнильцой, полненькая. У меня разрывается ширинка при одной только мысли, что randevу удастся.

Не сразу, но удалось обхитрить мать и спереть ключ. Договорились. И вот, мы уже идем от метро вниз по проспекту Вернадского. Лерка в дорогой шубке, я – в синей синтетической куртке. Привезенной дедом из Финляндии. Когда меня спрашивали, откуда эта куртка, я обычно отвечал – из Японии. И был очень горд. У Лерки в руках ничего нет. У меня – авоська с вином. Четыре бутылки. И коробка тогда еще доступных шоколадных конфет. Ассорти.

Пришли. Расселись в креслах. Начали пить. Ни стаканов, ни рюмок не было. Пили из горлышка. Белое, розовое, портвейн. Адская смесь. Закусывали конфетами.

Я предложил раздеться. Лерка согласилась. Легли на не застеленный диван. Начались нежности. Четырнадцатилетняя Лерка была еще девушка. Я хотел сходу лишить ее невинности, но не знал как подступиться. Неловкое тыканье в ее промежность ни к чему не приводило. Лерка дергалась, крутилась, верещала. В темноте она представлялась мне большой белой свиньей.

До этого момента я никогда не видел вблизи женских половых органов. Было душно, диван колотся. Мы легли валетом. Лерка взяла мое орудие в руки, явно не зная, что с ним делать. Я ткнулся губами в складки свиной кожи. В нос ударил запах мочи и тухлой рыбы. Стало противно.

Мы сели. Выпили еще. Лерка совсем опьянела и начала нести какой-то вздор. Наше время истекало – в десять Лерка должна была быть дома. Трудно было убедить ее, что необходимо уходить. Еще труднее одеть. Лерка не попадала рукой в рукав шубки. Хохотала, плела какую-то чушь. Вышли в подъезд. Пошли пешком вниз по бесконечным лестницам. Лерку вырвало. Запачкала лестницу,

шубу и куртку. Я узнал проклятое ассорти. Вышли на улицу. Тут стало легче дышать. Идти Лерка не могла. Я тащил ее на себе. Через каждые пятьдесят метров по пути в метро мы останавливались. Лерку рвало, я вытирал ей лицо снегом. В метро нам повезло – милиционеры не заметили состояния Лерки. Ехать всего полчаса, но как долго они тянутся, если тошнит.

Довез я Лерку. Доставил до самой квартиры в доме на улице Ферсмана. Позвонил и спрятался. Дверь открыла ее мать, посмотрела на дочь и закричала истошно.

На следующий день мстительная и дотошная мать Лерки, журналистка, пишущая в газете «Труд» фельетоны на тему нравственности советской молодежи, пришла к моей матери – кто-то в редакции помог найти адрес – жаловаться на то, «что ваш сын делает с моей дочерью». Моя мама отвечала неожиданно сдержанно: «Для вашей дочери честь – встречаться с моим сыном. Если родится ребенок, я воспитаю».

Но мне устроила вечером головомойку. Вскоре Лерку выгнали из школы – ее застукали голой и пьяной с другим школьником в радиорубке.

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА

Подожел к входу в метро Юго-Западная. Заглянул вниз, в переход. Черное пространство, кишачее людьми. Шею мягко облегла знакомая, пахнущая тошнотой резиновая петля. Начала душить.

«Ну давай! Спускайся. Две остановки всего, что ты трусишь!» – убеждал я сам себя.

Но петля не пускала. Пришлось сделав вид, что все хорошо, отступить. Решил пройтись вдоль киосков, образующих рядом с входом в метро настоящий караван-сарай. На прилавках лежали куртки, пальто, ботинки. Куртки по большей части черные, топорно сделанные, ботинки – грубые, носатые, скуластые. Подумал: «Как могла славянская широкомордость повлиять на турецкие модели одежды и обуви? Или все дело в подсознательном выборе? В притяжении стиля или в главном русском чувстве – зверином, кровном чувстве

родства-неродства. Вот эти тупорылые ботинки приятны почему-то русскому сердцу, а ты, надутый неврастеник, нет».

Четверть часа гулял между гор турецких шмоток, проклинал клаустрофобию. Наконец петля отпустила. Спустился в подземный переход.

Тут был переполох. Покупатели как черные толстые пчелы роились вокруг цветных товаров, лежащих на лотках. Пахло влажным мехом.

Купил месячный проездной. Показал в проходе дежурящей там тетке. Тетка тут же взорвалась как бомба: «Ну что вы кверху ногами показываете?!» Такая злоба была в ее голосе, как будто я что-то украл или кого-то убил. За двенадцать лет жизни в Германии я потерял иммунитет – в ответ на хамство хотелось грубо ругаться, ударить тетку ногой.

Спустился в метро. Попал в огромное прямоугольное пространство. Сырое и плохо освещенное. Лампы грязные. Грязный пол. Из тоннеля пахло влажным теплым воздухом. Подошел поезд. Вошел в вагон.

Сел на мягкое сиденье. Передо мной стоял молодой парень в темной куртке и девушка в вязаной шапочке. Парень что-то бубнил в ухо своей спутницы. Смог разобрать только несколько слов: магазин, братки, крыша, ножи от мясников, всем выпустили кишки... Потом парень уробно загоготал. Загоготала и девушка. Меня передернуло.

Тут строгий женский голос сказал в репродуктор: «Осторожно, двери зарываются. Следующая станция метро Проспект Вернадского».

Через пять минут поднялся по эскалатору, вышел на воздух и огляделся. Все было вроде на месте: круглое здание цирка, шпиль университета, огромные дома на другой стороне проспекта. И в то же время все выглядело не так, как в мое время. Слишком часто я переносился сюда в воображении. Слишком детально восстанавливал этот ландшафт по памяти. Реальность отомстила – ускользнула в небытие, а на своем месте оставила подновленную копию. То, что я видел перед собой, было материализацией чужой истории. Я потерял этот город. Как когда-то город потерял меня.

Опять кольнула мысль – не надо было сюда приезжать. Глупо возвращаться туда, где прошло твое детство – куда умнее было бы оставить драгоценный материал для игр памяти, для ностальгических галлюцинаций.

Пошел в сторону Ленинского проспекта. Просто так, чтобы не стоять на месте. Не знал, куда идти. Не знал, зачем. На душе скребли кошки, я испугался, что не справлюсь с тоской. Вспомнил своего приятеля, развратника и прогульщика Рубика. В школьном литературном кружке читали тогда «Бурю» Шекспира. Рубик разыгрывал Калибана, дурачился, надувал презервативы и дарил шарики одноклассникам. Говорил многозначительно: «Танатос, любезные сударыни, побеждается только Эросом!»

Сам Рубик Танатоса победить не смог. Умер в двадцать семь лет. Врезался в бетонный столб на отцовских жигулях.

Царство небесное, пусть земля будет тебе пухом, Рубик...

Надо было заставить себя подумать о чем-нибудь милом. Представил себе портретную галерею моих дам. Все они смотрели на меня насупленно – не забыли моих проделок. Только одно личико не было искажено гримасой злобы. Это была Олечка, студентка филологического факультета, жившая неподалеку, на Строителей. В любую погоду мы шли в университетский парк, чтобы там обниматься и миловаться. У Олечки были красивые бедра, маленькая грудь и миленькая головка, как бы не человеческая, а принадлежащая какому-то ручному зверьку. На мои длинные словесные тирады Олечка обычно отвечала, вздыхая: «Хорошо быть умным! Не понимаю я сложноподчиненных предложений.»

И смотрела на меня вопросительно и нежно. Целовались мы часами. Было сладко, но противно – как будто не с человеком целуешься, а с зайчиком.

Настоящим сексом мы заняться не могли. Из-за олечкиных, нормальных для советской девушки семидесятых годов, предрассудков. Поэтому после двух-трех часов милования я провожал ее домой, а сам ехал к другой подруге, похотливой и дерзкой студентке текстильного института Мирре, проживающей недалеко от Белорусского вокзала, на улице Правда. Она жила с там мамой и сестрой, но у нее была своя комната и комната эта закрывалась на ключ.

Мы познакомились на вечере Окуджавы. У Мирры была нескладная бабистая фигура, плоская висячая грудь, большие крепкие руки. В нерусском асимметричном лице (на была наполовину армянка, наполовину полька) проглядывала прямая, неприкрытая жеманностью чувственность. Мирра хорошо

рисовала, уверенно играла на гитаре, с мужчинами сходилась легко, рыдала, хохотала, была способна и на верность и на обман. Меня сразу повлекло к ней – особенно возбуждали его ее мягкие пухлые губы.

Дальше поцелуев и объятий вначале дело не шло. У Мирры явно был кто-то еще. Так продолжалось недели две. Мне уже начинало все это осточертевать. И вот однажды пошли мы в кино. Посмотрели фильм Бергмана «Земляничная поляна». Обсудили. Мне очень понравился сын профессора, которого играл Макс фон Сюдов. Меня удивило то, что что он стремился стать максимально мертвым. Я хотел быть максимально живым. Это было, однако, для меня чересчур буднично, не достаточно романтично. Душа тосковала по черному плащу и шпаге.

Скандинавская установка на смерть открывала возможности для внутреннего кокетничанья с дьяволом, с концом. Давала волшебное зеркальце в лапы обезьяне. Мирру, как художественную натуру, потряс «Бергмановский свет», «органичность светотеневых переходов» и «удивительная сила молчания снов». Погуляли. Пришли на улицу Правды. Домой нельзя – там гости.

Расставаться надо. А неохота. Зашли в подъезд. Поднялись на лифте на последний этаж. Спустились по лестнице на площадку между последним и предпоследним этажом. Поцеловались.

Мне страшно захотелось Мирру. Так, что я даже задрожал. Мирра поняла это. Присела, расстегнула мне ширинку...

Мне было ровно восемнадцать лет, когда он решил больше не онанировать. Из головы не выходила цитата какого-то советского психотерапевта, которую привела врачиха, проводящая что-то вроде принудительной сексинформации в нашей школе – «воздержание полезно для здоровья молодого человека». Решил и перестал. Уже год длилось мое подвижничество.

Но тут молодой организм потребовал своего. Я даже не успел предупредить свою подругу. У меня сразу начался оргазм. Сперма заполнила ее рот. Поначалу Мирра мужественно пыталась ее глотать. Но жидкости было слишком много. Мирра поперхнулась, закашлялась, инстинктивно вынула член изо рта, продолжая движения рукой. Сперма полилась струйками на грязный кафельный пол.

В этот волнующую минуту на сцене появилась жительница последнего этажа –

она спускалась по лестнице в подъездной полутьме с мусорным ведром в руках. Посмотрев на нас, обознавшись, и явно не поняв, что происходит, она спросила: «Маша, это ты? И кто это с тобой?»

Машей звали ее собственную дочку. На Мирру появление соседки по подъезду, подружки ее крутой матери, произвело сильное впечатление. Она бросила все и убежала. Я зажмурил глаза. Сперма все еще текла, как из крана. На полу образовалась приличная лужа.

«Машка, стой! Куда понеслась?» – закричала соседка.

«А ты чего стоишь тут, урод?» – обратилась она ко мне.

Я открыл глаза и перевел дух.

Тут соседка, наконец, разглядела лужу и ее источник.

И завизжала: «Срамник! Спрячь свои яйца!»

«Ну я Машке дам, паскуде!» – восклицала она, поднимаясь к себе. Я это услышал уже в лифте. Хохотал как сумасшедший. Вот тебе и «Земляничная Поляна». Простите меня, папа и мама. Воздержание полезно для здоровья!

Будем жить, ханурики!

Через полгода Мирра изменила мне в общежитии университета с студентом-негром. Мы расстались.

А с нежной Олечкой я распрощался, только когда встретил свою первую жену. Иногда я спрашиваю самого себя, чтобы бы было, если бы я тогда женился на ней, начал делать научную карьеру? На долго бы меня, конечно, не хватило – уютная, похожая на зайчика жена, хорошо готовящая теща, научная рутина – все это быстро бы опротивело и разлетелось бы в прах. Так, как разлетелись оба моих брака и другие попытки долговременных союзов против сумбура и хаоса жизни.

АЛЕНА

На следующий день меня посетила Алена. Я не хотел ее приезда, не хотел вообще никого видеть из прошлой жизни – мне было трудно справиться с

улицами и домами, не то, что с людьми. Ругал себя: «Зачем ты сказал ей, что приедешь? Сам позвонил, идиот. Теперь жди ее, принимай, она еще рыдать начнет и укорять, потащит тебя в постель, а тебе не до того, и простыни чистой нет и кровать на ладан дышит...»

Приехала. Пришлось идти вниз. Открывать и закрывать бесконечные решетки и железные двери. Пришли наверх. Алена обнимала меня, смеялась и плакала. Я не знал, что сказать. Мы не виделись двенадцать лет.

Посидели в кухне. Я заварил чай, достал хлеб, сыр, купленный уже в Москве зефир в шоколаде, и несколько изящных коробочек конфет из Германии. Поели, попили. Разговор не клеился. Если мужчина не ведет сам диалог с женщиной, то все летит к чертям. Или она начнет что-нибудь неинтересное рассказывать – про свою работу или про детей, или вообще замолчит. Женщину надо ласкать, если не физически, то по крайней мере словами.

Алена решила заняться со мной любовью. Пробормотав что-то томное, прижала мою руку к своей мокрой горячей щеке. Разделись мы без спешки, как и полагается пятидесятилетним (ужас!). Легли. Укрылись какими-то гадкими тряпками – настоящего одеяла я так и не нашел. Обнялись.

Алена дрожала то ли от холода, то ли от возбуждения. Я был пуст. Из последних сил боролся с собой. Не хотел быть пассивным и равнодушным. Пытался уговорить себя. Возбудить. Что-то говорил... Кровать под нами подозрительно потрескивала.

Руки ласкали ее против моей воли. Алена не замечала моего состояния и возбуждалась все сильнее. Страсть слепа и глупа. Навязчива. Я лег на нее и проник. Без желания, по инерции. Надеялся, что удастся достичь оргазма без душевного контакта с лежавшей подо мной женщиной.

Со мной это часто случалось. Во время любви я погружался в виртуальные миры, обладающие гораздо большей силой реальности, чем сама реальность. Совесть твердила: «Ты никогда никого не любил по-настоящему!» Я пытался обороняться: «Не правда. Любил. И очень страстно. И наслаждался любимой. Но свежая страсть проходила, уступала место чему-то другому и любовный акт превращался скорее в совместное музицирование, в дует, где главное содержание – не ты и не партнер, а нечто третье – музыка, написанная... кем?

Кто этот композитор?»

«Ха-ха! – парировала совесть. – Отговорки и увертки. Привык сам себя развращать и даже стыдишься самому себе в этом признаться. Знаем мы и твоего композитора! Он у тебя между ног болтается! Кретин ты высокопарный и животное».

«Ты груба».

«Я – груба? Может быть, напомнить тебе, какие ты фантазии предпочитаешь?»

«Лучше заткнись, и так жить тошно».

Любовный акт продолжался. Алена постанывала. Я совершал любовные движения, но был холоден, ни любовь ни возбуждение не приходили на помощь. Передо мной стоял образ Москвы – Медузы Горгоны, я так и не оправился от свидания с родиной, был парализован. Не хотелось обижать своим равнодушием Алену. Она не заслужила этого.

Чем противнее было совокупление, тем быстрее я двигался. Хотя почти ничего не чувствовал. Моя подруга дернулась, задрожала, прервала ритм... Открыла свои прекрасные черные глаза. Бешено сжала меня бедрами, дернула головой. Захрипела.

В этот момент проклятая гэдээровская кровать с невыносимым скрежетом и треском сломалась под ними и мы обрушились в бездну... И приземлились на ее колкие останки.

Удар был силен. У Алены на спине начал наливаться зловещей синевой синяк размером с ладонь. У меня болели колени и локти. Надо было вставать, в комнате было холодно...

Посмеялись, повздыхали. Пошли опять в кухню. Опять пили чай. Доели зефир в шоколаде.

КРОТ

... вышел из музея и пошел к стоящему неподалеку храму. В застойное время тут располагался покрытый белой подушкой пара бассейн «Москва». В него нас гоняли от школы плавать то ли в шестом, то ли в седьмом классе. Казалось, что

заново выстроенный собор – кристаллизовался не из испарений страшной русской истории, а из этого, волнующегося пара бассейна, вода которого тридцать с лишним лет смывала пот сотен тысяч купающихся безбожников. В казенной раздевалке бассейна было холодно; потрескавшийся, местами вздувшийся, линолеумный пол корябал голые ступни. Публичная нагота в этом возрасте переносится особенно плохо – между школьниками то и дело начинались потасовки, угрюмые, невеселые столкновения. Одноклассников – поддразнивали или травили. Чужакам – обещали привести в следующий раз борцов или боксеров и разобраться. Под душем дети пели, орали, хлопали звонко друг друга по спинам и ягодицам. Кафель в душевой был скользкий, неприятный, как будто заросший серо-фиолетовыми грибками. Всем хотелось поскорее в воду. Чтобы попасть в бассейн, нужно было поднырнуть под деревянный барьер. Не всем это давалось легко. Кого-то во время этой процедуры «топили» – держали за плечи и руки, не давали вынырнуть на другой стороне. Не долго, с полминуты. Жертва выныривала красная, полузадушенная, смертельно испуганная, поклявшаяся самой себе никогда больше не ходить в «Москву»...

Купаться в теплой воде, защищенной от двадцатиградусного мороза полуметровым слоем теплого, клубящегося воздуха – странное, особое наслаждение. Мы не плавали, а брызгались, ныряли, бесились. Отталкивались от дна и подскакивали, убеждались, что мы на улице, что на чугунном московском небосводе горят несколько тусклых звездочек, а вокруг желтоватых лампочек уличных фонарей пульсируют красочные шаровые молнии. Мокрую голову хватал едкий морозец, лоб и уши холодели, в сердце влетал колючий мотылек извечного северного страха – пропасть в ледяной пустыне, но вот, ты уже внизу, в теплом воздухе, а потом и в горячей воде, пахнувшей хлоркой. Уши и лоб согревались мгновенно, хотелось нырнуть и посмотреть на увеличенные водой бедра трепещущих сверстниц. Потрогать их между ног...

В девяностых годах на этом гибло-мокрое месте возник по приказу мэра Лужкова двойник взорванного в сталинские времена храма. Здание это, похожее на гигантскую станцию метро, украшенное безобразными бронзовыми фигурами и невыносимо помпезное внутри, репрезентирует то искусственное, лишенное

исторических корней, новообразование, в которое мутировала официальная русская церковь.

Зашел внутрь, хотя отлично знал, что меня там ожидает.

На входе стояли милиционеры и зияла огромная магнитная арка – входящих проверяли на наличие металлических предметов. Страх перед чеченскими мстителями? Или перед замордованными грузинами? Перед дагестанцами? Ингушами? Или уже перед татарами и башкирами? Список униженных, завоеванных, изнасилованных и оболваненных Россией народов длинен. И все они когда-нибудь попляшут над ее гробом. Именно тут, на развалинах нового храма. Их гортанное пение слышно уже и теперь сквозь московскую кокафонию... Сквозь новое кремлевское пустозвонство...

Прошел контроль – очутился внутри малахитовой шкатулки. Тут все блестело позолотой, пестрело, переливалось. Стерильная живопись – правильные пионеры-ангелы, похожий на царя, косматый старик в ночной рубашке – Бог, вылизанная, как будто подготовленная к телешоу Мадонна. Орнаменты варварские. Алтарь – терем-теремок. В нем живет маленький золотой Иисусик... Стойкий оловянный солдатик, распятый на крестике...

Россия демонстрировала тут не память о погибших в борьбе с Наполеоном воинов (чему был посвящен храм-оригинал), а богатство сибирских недр и столичную коррупцию (вроде бы даже облицовочный мрамор украли и растащили на дачи сами строители-подрядчики и пришлось облицовывать собор плитами из прессованной мраморной крошки цвета обезжиренного кефира). Какое отношение этот бетонный, густо повапленный ящик, эта русопятая пеструха имеет к нищему еврейскому проповеднику-ересиарху, распятому римлянами две тысячи лет назад?

Во что люди превратили его учение? В имперскую архитектуру. В мертвые камни. В рисованные ковры. В орнамент. В инструмент для одурачивания масс. Храм Христа Спасителя выглядел не как главная церковь страны, а скорее как новый, фальшиво-православный дворец съездов и похорон бывшей сановной советской и новопутинской гэбэшного-гламурной сволочи. Фальшак-новодел.

Пошел в сторону Манежа – там должна была открыться большая выставка современных художников.

Вокруг Манежа была суета. Бородатые художники вносили с черного хода картины. Они гордо запрокидывали головы, украшенные растрепанными волосами с проседью, смотрели вокруг себя надменно и мрачно – несли заботливо укутанные пузырьчатыми упаковочными простынями картины так, как будто это подготовленные к погребению покойники.

Вокруг главного входа тусовалось несколько тысяч людей. Образовались несколько жирных очередей. Я ждал, пока рассосется, не понимал, открылась ли выставка, надо ли вставать в очередь, хочу ли я вообще внутрь. Какой-то невзрачный тип неопределенного возраста обратился ко мне: «Эй, отец, хочешь не выставку пройти? Давай тридцатник, проведу».

Я дал ему три грязные бумажки с изображением какой-то плотины. Он взял меня под локоть и почти силой протащил сквозь толпу и очереди. На входе он показал проверяющим билеты какой-то документ, а про меня сказал: «Этот – со мной».

... несколько рядов картин простирались на всю длину здания. Три с половиной сотни художников. Судя по рекламе – лучших российских художников. Раньше все было «советское», теперь все стало «лучшим». Общая картина была такая же пестрая как и в храме Христа, только несколько на другой лад. Я прошелся вдоль одного ряда, потом вдоль другого – ничего интересного не заметил. Все те же приемы, те же «новшества», та же зависимость от натурализма, та же славянская цветастость, та же набитая рука и затуманенная самовосхвалением голова. Опять фальшак.

Скучно и грустно.

Какой контраст со старыми картинами Пушкинского музея. Какая потеря качества! Потеря простоты, непосредственности. Почему?

Тотальный дизайн ведет тотальную войну против органики, естественности, создает нежизнеспособные фантомы. Машина коммерции навязывает потом их массовой публике, всегда жаждущей новой лжи, новой моды. Все хотят делать «хорошие картины», «хорошие фотографии», все искажают, вылушивают форму вместо того чтобы дать ей развиваться самой. Врут. Никто не хочет видеть и знать

правду, природу, социум, характер, потому что они «не красивы», потому что их трудно продать. Никто не верит форме и судьбе, все подлаживаются под господствующий стиль. Или бесстилье.

Современные галереи полны бессмысленных картин, которые, чем лживее, чем мертвее, тем больше нравятся такой же лишенной дыхания, полумертвой публике, лжезнатокам и придуркам-продавцам.

А критики придумывают заумные концепции, чтобы легче было дурачить жвачную публику.

... вышел из Манежа, пошел в сторону Красной площади.

Как все тут изменилось! Вместо Манежной площади – гигантское подземное сооружение, выпирающее из земли. В чем же смысл его «подземности», если оно все равно уничтожает площадь? Вместо Александровского сада выстроена какая-то невообразимая гадость – с белыми колонками... Дурацкий фонтан с лошадьми.

Вышел на Красную Площадь.

Гротескная, абсурдная картина. Вечер. Холод. Метель. Идти трудно, Красная площадь покрыта, как Антарктида, ледовым панцирем. Никого вокруг нет.

Никого. Впереди – круглое «лобное место», за ним смутно сквозь метель видны как бы из цветной резины отлитые купола собора Василия Блаженного. Справа – кремлевская стена-кладбище, мавзолей Ленина. Сталинский бюст-истукан торчит непонятым предупреждением богов. Слева – длинное здание ГУМа и заново выстроенный в старорусском стиле собор. В соборе идет служба. Ее транслируют на безлюдную площадь. И только снег, усатый мраморный покойник у стены и Ленин в мавзолее слышат рычащий из громкоговорителей бас молящегося дьякона.

Я родился в послесталинской Москве. Архитектурная среда, окружающая мое раннее детство – это сталинский ампи́р здания московского Университета, «Дома преподавателей» и «Красных домов». Городская среда моего отрочества – это хрущобы, пятиэтажные здания-прямоугольники, лишенные признаков архитектуры. Со времени студенчества и до отъезда из страны – я жил в новом районе, в улучшенной девятиэтажной хрущобе. Прямоугольники выросли, увеличились коридоры и кухни, улучшилась отсутствующая в пятиэтажках

звукоизоляция. Суть однако осталась прежней – голый функционализм, геометрическое и цветное однообразие, бесконечное упрямое клонирование. Дома говорили языком советчины, твердившей – так, так, только так. И никак иначе..

Советчина клонировала не только дома и людей – но и ложки, кастрюли, сковородки, столы, стулья, уличные фонари, ручки, тетради, батареи парового отопления, женские прически, очки, штаны, платья итд..

Все, что окружало человека, все что производилось, внушалось и вкушалось, весь убогий советский жизненный инвентарь порождал одно желание – дематериализоваться и смыться, укрыться в недоступную для «них» реальность, «воспарить». Чтобы самому не стать ложкой или, как нас учили профессора, – «колесиком и винтиком». Социальная жизнь «советской интеллигенции» определялась в той или иной степени этим главным вектором сознания. Всех нас все время отливали по форме, куда-то заталкивали, откуда-то выталкивали. А мы удирали от «них», зарывались в землю, воспаряли и падали. Пьяницы – на пахнущие блевотиной «поля Диониса» или в водочный белый ад, интеллектуалы – в миры Пруста и Кафки, разочарованные в беспомощности культуры интеллектуалы – в духовный Тибет, в небесный Иерусалим. Непрактичные евреи – через узкую щель и после многих лет борьбы – в Иерусалим реальный, населенный злыми арабами, практичные – в Нью Йорк и Бостон в программистские фирмы. А кое-кто воспарял на картину, прятался в роман или садился безнадежно в тюрьму.

Я до самого отъезда об эмиграции не помышлял. Жил после окончания университета в советском государстве и хотел радоваться жизни, заниматься творчеством, создавать что-то, имеющее больший смысл, чем бесполезный труд в научноисследовательском институте. Все официальные пути были для меня закрыты – советское искусство было хронически больным и вызывало у нормального человека отвращение и ярость. Искусствоведение было насквозь пропитано демагогией и, как и другие гуманитарные науки, контрпродуктивно. Я должен был выработать соответствующую стратегию, чтобы иметь возможность жить не прикасаясь к советскому радиоактивному навозу, найти или построить в идеалистических мирах свою «нишу», научиться «заползать» в

нее, существовать в ней, получать и тратить жизненную энергию. И я, как и многие другие, научился это делать. Мое «искусство» было воплощением идеи – дематериализации или глобального «антидизайна». В силу такой болезненно идеалистической направленности оно никогда не имело иного смысла, чем развитие сознания. Оно было как бы бестелесным и могло существовать реально только на душевных просторах или в «царстве небесном». Почти все созданное мной в добровольном затворничестве, в кооперативном микрооазисе, редко выходило на свет божий, не получало критики, производилось без обратной связи, без кислорода.

Слепой крот, сидящий глубоко в советской норе, грезил о вечности.

Значок

Вышел на смотровую площадку. Посмотрел на Москву. Из-за метели ничего видно не было. Продрог, поплелся к университету. Хотел согреться – попытался войти через Главный вход, но меня не пропустил милиционер. Постоял рядом с колоннами. Потрогал их холодную полированную поверхность. Поглядел на площадь.

Тридцать лет назад в сентябре с этой площади, нас, новоиспеченных студентов мехмата, посылали не в аудитории – «грызть гранит науки», а за сто километров от Москвы, в Можайский район, на картошку. Сейчас на площади не было ничего, кроме сугробов да трех дюжин казенных машин университетского начальства. Тогда тут стояли в ожидании сигнала к отправлению сотни автобусов и рафик, украшенный флагами факультетов. Площадь была полна студентов и провожающих, какой-то партийный тип орал в мегафон: «Передовая советская молодежь должна с честью выполнить патриотический долг в битве за урожай...»

Его никто не слушал, но никто ему и не мешал. Некоторые студенты сидели на рюкзаках и перекидывались в картишки, остальные стояли рядом с автобусами – курили, болтали. Наконец поступила команда: «По машинам!» Погрузились. Тронулись.

Ехали долго и с остановками. Студент Никитин по дороге отстал и приехал в пункт назначения на перекладных только через три дня. Оправдывался он тем, что, мол, пошел посикать, а потом захотел и покакать. Когда вернулся – автобусы уже уехали. На самом деле, он побежал на привале за вином, стоял в сельмаге в очереди, познакомился там с кем-то, выпил на троих, загудел... Одна пауза затянулась на два часа. Позже стало известно, почему. Оказывается, тогда происходила встреча представителей колхоза с начальством мехмата. Колхозники хотели принять двести студентов – для них было подготовлено теплое жилье в пионерском лагере, их ожидала работа. Факультетское начальство настаивало на том, чтобы все едущие в автобусах четыреста человек получили жилье и работу. Председатель заявил, что у него нет места, что в колхозе пустуют только бывшие коровники, коров в них давно нет, сдохли в эпидемию. Мехмат, однако, уже рапортовал на верх о посылке четырехсот студентов на трудовую вахту. Поэтому ненужных студентов решили поселить в этих коровниках. Привезли откуда-то поломанные грязные раскладушки, положили на них старые матрасы, застелили больничное белье.

Одну половину автобусов направили в пионерлагерь, другую – в коровники. Я конечно оказался в другой половине.

Пол в коровниках вымыли, но все равно пахло коровьим навозом, было холодно. Старые печи растрескались, топить их было опасно для жизни, да и дров не было. Ничего не было. Только две сотни раскладушек с матрасами и серым сырым бельем стояли в два ряда в длинном помещении с крохотными окошками на крыше. Есть нам не дали – негде было готовить да и нечего.

На следующий день студенты сами чинили печи в коровнике и в маленьком сарае рядом – на «кухне». Откуда-то привезли огромные черные от копоти кастрюли и чайники, помятые миски и алюминиевые ложки. Появились и повара. Повара сварганили обед – перловую кашу с мясными консервами. Мой приятель Клейн грустно заметил, что это наверняка мясо тех самых коров, которые тут подошли.

Все это было противно, но терпимо. Нетерпим был единственный туалет для двухсот человек – плохенький сарайчик с двумя «очками». Вонял он так, что Клейн и спустя два часа после его посещения спрашивал с тревогой – не пахнет

ли от него говном? Посмотреть в очко я боялся – так страшно смердело, но один раз он все-таки не выдержал, заглянул. В жуткой коричневой жиже копошились тысячи белых червей. На черных деревянных стенах сидели неизвестные науке апокалиптические звери.

Работы поначалу не было – студенты были предоставлены сами себе. Что мы делали? Пьянствовали и в карты резались. В модную игру – «палку». Играли вчетвером, впятером. В конце каждого кона выигравший бил проигравших картами по ушам. Сколько раз и каким количеством карт – зависело не от игры, а от случая. Проигравший вытягивал из колоды две карты. Например, дама и девятка означали три удара девятью картами. Вытянувший два туза несчастливцу получал сорок ударов всей колодой. Били чаще всего не сильно – только для смеха. Жертва должна была громко стонать и зла на экзекутора не держать. Тем более, что палач через несколько минут сам занимал ее место и дрожащей рукой тянул из колоды две роковые карты.

Клейн научил меня бить по ушам снизу (обычно били сверху). Такой удар приводил жертву в трансцендентальное состояние. Тот кайф, который цивилизованный европеец или американец нашего возраста получал от марихуаны, мы славливали от удара по уху.

Многие ходили в близлежащую деревню, разведать, как там насчет клубнички. Маленькая осетинка-врач на вечерней линейке настоятельно отговаривала студентов от амурных приключений. Утверждала, что в окрестных деревнях до восьмидесяти процентов взрослого населения болеет сифилисом. Некоторые этому не поверили. Эти некоторые должны были потом долго и нудно лечиться. И не только от сифилиса, но и от других венерических болезней, которые все вместе на тогдашнем жаргоне назывались «букет».

Ходил в лес. По грибы и просто так. Лесу конца и краю не было. Между лесами располагались огромные поля с картошкой, убирать которую никто не хотел. «Не мое, колхозное, все равно все сгниет в овощехранилище. Чего его и убирать?» – так говорили деревенские мужики. Ждали каких-то чудо-гэдээровских комбайнов. Хотя ждать их было глупо. Комбайны стояли себе спокойно в гараже недалеко от коровника. Уже три года. Колхоз купил их после поездки председателя в ГДР. Но без запасных частей. На них денег не хватило.

Любой комбайнер знает, что это означает. Через три недели эксплуатации такой комбайн встанет навсегда. Поэтому умные немецкие машины стояли в гараже. Их смазывали, показывали гостям колхоза, а чтобы картошку убирать, вызывали из города студентов-математиков с ведрами и мешками.

Шел я как-то вечером домой в коровник после прогулки по лесу. Вышел из леса на асфальтированную дорогу. Странный звук доносился из тьмы – «чав-чав-чав». В ночном лесу много странных звуков. Звук усилился. Остановился. Прислушался. «Чав-чав-чав...» Попытался разглядеть что-либо в кромешной тьме. Вдруг что-то огромное, страшное, вращающееся появилось на дороге прямо передо мной. У меня ёкнуло сердце – я прыгнул в придорожную канаву. Потом вылез на дорогу и разглядел два удаляющихся от меня зерноуборочных комбайна. Они ехали рядом, занимая обе половины дороги, не включив никакого света, подняв бешено крутящиеся ножи-колеса.

«Ну выпили комбайнеры, ну убили бы, тебе шо, долго жить охота? В прошлом году Кольке Косому руку оторвали. А три года назад Семёна, что у болота жил, пополам разрезали. А ты жив. Ну и радуйся!» – сказал флегматичный колхозный бригадир в ответ на мою жалобу.

Пришел я тогда в коровник и заметил, что студенты возбуждены. Спросил, в чем дело. Оказалось, за час до моего прихода в коровник ворвался пьяный мужик из деревни. С ружьем. Мужик грозил, что всех москвичей поубивает. Выстрелил. Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от головы Клейна. Мужика обезоружили, побили, приезжала милиция.

На следующий день в студентов подло, из-за кустов, бросали камни. Кричали: «Убирайтесь, суки!»

Один камень пробил кому-то голову. Опять вызывали милицию. Раненного студента отправили в Москву. Подобные инциденты продолжались до самого отъезда.

Через пять дней началась работа. Нудная, грязная. Трактор с прицепленным к нему огромным крючком боронил картофельное поле. После него шли студенты. Выковыривали из земли картофелины, бросали их в ведра. Специальная бригада опорожняла ведра в мешки, мешки тащили к машине, загружали их в кузов. От такой работы болела спина. Ломило суставы. От скверной еды у многих болел

живот.

Потом зарядил дождь. Студенты начали простужаться, настроение упало. Жизнь казалась бесконечным картофельным полем, которое надо убирать. «Работай, работай, только не сдохни как собака», – цитировали студенты друг другу популярный тогда фильм «О, счастливчик». Шутка эта оказалась пророчеством. Одна студентка действительно умерла. Прямо на поле. Начальство объявило: «У нее всегда были проблемы с сердцем, условия работы в этой смерти не виноваты».

Труп девушки как-то незаметно увезли, а всем остальным прочли обязательную лекцию по технике безопасности «при полевых работах». Какая-то гадина из университетского начальства хотела застраховаться от судебного преследования. После работы грязные и потные студенты тупо сидели в коровнике. Душа не было. Это бесило. В деревне не было магазина, а до районного центра было километров тридцать. Студенты покупали у колхозников страшный коричневый самогон. От него можно было ослепнуть или умереть.

Жратва была ужасная. Все, кроме хлеба, молока и картошки, было несъедобно. Студенты пробовали ведрами и мешками поймать зайца, случайно забредшего на поле. Ловили его человек сто, с окрыляющей мыслью о жарком, но не поймали. Заяц прыгал и петлял как будто издеваясь над неумелыми охотниками. Потом смылся в лесу. Пытались воровать гусей, пасущихся недалеко от коровника. Поймали одну птицу. Ощипали. Зажарили. Съели. Но кто-то донес – за гуся пришлось платить. Денег у студентов не было.

В коровнике жило и несколько взрослых. Главным партийным надсмотрщиком был некто Немецкий, доцент-математик. Жгучий брюнет с вьедливыми и скучными глазами. Немецкий был личностью известной. Прославился он, однако, не математическим талантом, а кляузными и доносами. По его инициативе заводились персональные дела. С выговором, с занесением, а то и с отчислением из университета. Немецкий был красноречив и многословен. После работы хотелось лечь. Немецкий заставлял всех стоять на линейках и выслушивать длинные нотации. Студенты решили его проучить. Три раза ссали в его постель, один раз даже насрали под одеяло. Немецкий был, разумеется, в бешенстве. Больше всего его злило, что стукачи среди студентов не хотели выдавать

зачинщиков. В конце концов он просто уехал и жизнь стала веселее. Остальные педагоги были помягче и в наши дела не лезли. Я любил давать людям клички. Немецкого за его фамилию и лютость прозвал доктором Геббельсом. Кличка эта привилась. Даже коллеги Немецкого по кафедре звали его так за глаза.

Геббельс делал параллельно с научной и партийную карьеру. Стал партийным боссом нижнего звена. Надвигался какой-то юбилей университета. К юбилею был изготовлен специальный значок. Значок был трех степеней. Золотой, серебряный и бронзовый. Сделаны все три варианта были из дешевого материала. Но покрытие имитировало драгоценные металлы. Значки должны были вручаться лучшим работникам университета. Вроде как медали. По всем бесконечным подразделениям происходили собрания коллективов, выдвигались и обсуждались кандидатуры. Развивались интриги, составлялись заговоры, писались обоснования, почему такому-то нельзя вручать значок, а такому-то можно и нужно... Были и мордобои.

Бумаги отсылались в партком, который и должен был окончательно решить, кому значок, а кому фигу с маслом. И если значок, то какой. Поручили этот последний дележ возглавить Геббельсу. Нельзя въедливым математикам поручать такие дела – тут нужно вдохновение и отстраненность, а этого всего, также как и чувства юмора, у Геббельса не было. А была только верность собственной карьере.

Взволнованный Геббельс прибыл на заседание партийной комиссии по распределению значков. Никогда до этого он не был в центре внимания такого большого количества влиятельных людей. Он хотел как лучше. Искренне хотел справедливо распределить значки. Даже идиот знает, что это невозможно. Что бредовая идея может быть только еще более бредово воплощена. Геббельс этого не знал – и пытался применять в распределении значков научные критерии.

Разработал систему положительных и отрицательных баллов. Которые должен был получить каждый кандидат на значок. Например, если кандидат – профессор, то он получает тридцать баллов, если при этом член партии – то еще тридцать, но если на него наложено в последний год партийное взыскание – то он штрафуетя десятью отрицательными баллами... Геббельс и его команда проделали все это с шестью тысячами кандидатур. С помощью компьютера,

конечно. Напечатали списки. Геббельс приволок их на заседание и не без гордости выложил на стол. Больше всех баллов получил ректор университета. Меньше всех – проворовавшаяся мойщица посуды в университетской столовой. Члены комиссии были неприятно удивлены. Они хотели распределять все тоталитарно-волюнтарно, а этот чертов математик придумал какие-то баллы. Начались прения. Участникам заседания было наплевать на всю математическую дребедень – им нужно было добиться, чтобы их люди получили значки, а не их – не получили. Начались споры и угрозы. Сговоры и измены. Мужчины переходили на крик, женщины – на визг. Старший преподаватель марксистско-ленинской философии Кислица периодически ябедничала комиссии: «А она живет с ним!»

На это ей отвечали мужчины: «А вы, что, завидуете?» И гоготали. Все это продолжалось четверо суток. Почти без перерывов.

В конце четвертого дня Геббельс сошел с ума. В клиническом смысле слова. Его к тому времени уже никто не слушал, все спорили, а когда он пытался что-то вставить – только махали на него рукой. Мол, заткнись, математик гребаный. Геббельс вдруг громко и истошно закричал, подбежал к картонным ящикам, стоящим рядом с большим круглым столом, за которым сидели спорящие, погрузил обе руки в груду золотых значков. Потом бросил их вверх наподобие фейерверка. Безумными глазами посмотрел на их полет. После того как значки упали на пол, принялся яростно затаптывать их ногами. При этом повторял: «Она живет с ним, она живет с ним...»

Его связали. Увезли в дурдом. Оттуда он не вернулся. Умер там от инсульта. Было ему всего тридцать восемь лет. А комиссия, состоящая из старых партийных зубров, заседала еще два дня. И никто не умер.

Где теперь валяются эти значки? Один я купил на память за доллар на Арбате.

Спросил у продавца: «Что это, медаль или орден?»

Тот ответил: «Да нет. Это просто значок... к юбилею какому-то выпустили. Дешёвка».